

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой

I

Это было в семидесятых годах, на другой день после зимнего Николы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви, – он был церковный староста, – и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости рощи. Василий Андреич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его окружे и между ним и деревенскими уездными купцами уж давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого, но Василий Андреич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкунскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои семьсот рублей, добавил к ним находящиеся у него церковных две тысячи триста, так чтобы составилось три тысячи рублей, и, старательно перечтя их и уложив их в бумажник, собрался ехать.

Работник Никита, один в этот день не пьяный из работников Василия Андреича, побежал запрягать. Никита не был пьян в этот день потому, что он был пьяница, и теперь, с заговен, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц; не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые два дня праздника.

Никита был пятидесятилетний мужик из ближней деревни, нехозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главное – за добрый, приятный характер; но нигде он не уживался, потому что раза два в год, а то и чаще, запивал, и тогда, кроме того что пропивал все с себя, становился еще буен и придиричив. Василий Андреич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным и главное дешевизной. Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей сорок, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки.

Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивой, бойкая баба, хозяйствничала дома с подростком малым и двумя девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому, что уже лет двадцать жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме; а во-вторых, потому, что, хотя она и помыкала мужем как хотела, когда он был трезв, она боялась его, как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьяна дома, Никита, вероятно, чтобы выместить жене за все свое трезвое смиренство, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обрубке изрубил в мелкую окрошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалованье все отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому. Так и теперь, за два дня до праздника, Марфа приезжала к Василию Андреичу и забрала у него белой муки, чаю, сахару и осмыуху вина, всего рубля на три, да еще взяла пять рублей деньгами и благодарила за это, как за особую милость, тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреичем было рублей двадцать.

– Мы разве с тобой уговоры какие делали? – говорил Василий Андреич Никите. – Нужно – бери, заживешь. У меня не как у людей: подожди, да расчеты, да штрафы. Мы – по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю. Тебе нужда, – я вызовлю.

И, говоря все это, Василий Андреич был искренно уверен, что он благодетельствует Никиту: так убедительно он умел говорить и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их.

– Да я понимаю, Василий Андреич; кажется, служу, стараюсь, как отцу родному, я очень хорошо понимаю, – отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреич обманывает его, но вместе с тем чувствуя, что нечего и пытаться

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru
разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают.

Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреич.

– Что, соскучился, соскучился, дурачок? – говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста ладный, несколько висловатый, караковый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке. – Но, но! поспеешь, дай прежде напою, – говорил он с лошадью совершенно так, как говорят с понимающими слова существами, и, обмахнув полой жирную, с желобком посередине, разъеденную и засыпанную пылью спину, надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув оброть, повел поить.

Осторожно выбравшись из высоко занавоженного хлева, Мухортый заиграл и взбрекнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту.

– Балуй, балуй, шельмец! – приговаривал Никита, знаяший ту осторожность, с которой Мухортый вскидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушибка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.

Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись; потом вдруг громко фыркнула.

– Не хочешь – не надо, так и знать будем; уж больше не проси, – сказал Никита, совершенно серьезно и обстоятельно разъясняя свое поведение Мухортому; и опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь.

Работников никого не было, был только один чужой, пришедший на праздник кухаркин муж.

– Поди спроси, душа милая, – сказал Никита ему, – какие сани велить запрягать: пошевни али мафонькие?

Кухаркин муж пошел в железом крытый, на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено впрягать мафонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал седелку, обитую гвоздиками, и, в одной руке неся легкую крашеную дугу, а другой ведя лошадь, подходил к двум стоявшим под сараем саням.

– В мафонькие так в мафонькие, – сказал он и ввел в оглобли все время притворявшуюся, что она хочет кусать его, умную лошадь и с помощью кухаркина мужа стал запрягать.

Когда все было почти готово и оставалось только завожжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретьем.

– Вот и ладно. Но, но, не топырься! – говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свежеобмолоченную овсяную солому. – А теперь вот давай дерюжку так постелем, а сверху веретье. Вот так-то, вот так-то и хорошо будет сидеть, – говорил он, делая то, что говорил, подтыкая веретье сверх соломы со всех сторон вокруг сиденья.

– Вот спасибо, душа милая, – сказал Никита кухаркину мужу, – вдвоем все спореем. – И, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.

– Дядя Микит, дядюшка, а дядюшка! – закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушибочке, новых белых валенках и теплой шапке. – Меня посади, – просил он, на ходу застегивая свой полушибочек.

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru
– Ну, ну, беги, голубок, – сказал Никита и, остановив, посадил просиявшего от радости хозяйствского бледного, худенького мальчика и выехал на улицу.

Был час третий. Было морозно – градусов десять, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей. Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее: с крыши соседнего сарая мело снег и на углу у бани крутило. Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреич, с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туга и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками, утоптанное снегом высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь, так, чтобы мех не потел от дыхания.

– Вишь ты, прокурат какой, поспел уж! – сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреич был возбужден выпитым с гостями вином и потому еще более, чем обыкновенно, довolen всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие; он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него.

Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреича, провожая его, стояла за ним в сенях.

– Право, Никиту бы взял, – говорила она, робко выступая из-за двери.

Василий Андреич ничего не отвечал и на слова ее, которые были ему, очевидно, неприятны, сердито нахмурился и плюнул.

– С деньгами поедешь, – продолжала тем же жалобным голосом жена. – Да и погода не поднялась бы. Право, ей-богу.

– Что ж я, иль дороги не знаю, что мне беспременно провожатого нужно? – проговорил Василий Андреич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особеною отчетливостью выговаривая каждый слог.

– Ну, право, взял бы, богом тебя прошу! – повторяла жена, перекутывая платок на другую сторону.

– Вот как банный лист пристала... Ну, куда я его возьму?

– Что ж, Василий Андреич, я готов, – весело сказал Никита. – Только лошадям корма бы без меня дали, – прибавил он, обращаясь к хозяйке.

– Я посмотрю, Никитушка, Семену велю, – сказала хозяйка.

– Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреич? – сказал Никита, ожидая.

– Да уж видно уважить старуху. Только коли ехать, поди одень дипломат какой потеплее, – выговорил Василий Андреич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный под мышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего видавший полушибок Никиты.

– Эй, душа милая, выдь, подержи лошадь! – крикнул Никита во двор кухаркину мужу.

– Я сам, я сам! – запищал мальчик, вынимая зазябшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи.

– Только не больно охорашивай дипломат-то свой, поживей! – крикнул Василий Андреич, зубоскаля на Никиту.

– Одним пыхом, батюшка Василий Андреич, – проговорил Никита и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми, подшитыми войлочными подметками, валенками, побежал во двор и в рабочую избу.

– Ну-ка, Аринушка, халат давай мой с печи – с хозяином ехать! – проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.

Работница, выспавшаяся после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же, как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонький, проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его.

– То-то тебе с хозяином просторно гулять будет, – сказал Никита кухарке, всегда из добродушной учтивости что-нибудь да говоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз.

И, обведя вокруг себя узенький свалившийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушибку что было силы.

– Вот так-то, – сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс. – Так не выскочишь! – и, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружили спину, чтобы рукам вольно было, подбил под мышками и достал с полки рукавицы. – Ну, вот и ладно.

– Ты бы, Степаныч, ноги-то перебул, – сказала кухарка, – а то сапоги худые.

Никита остановился, как бы вспомнив.

– Надо бы... Ну, да сойдет и так, недалече!

И он побежал на двор.

– Не холодно тебе будет, Никитушка? – сказала хозяйка, когда он подошел к саням.

– Чего холодно, тепло вовсе, – отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому.

Василий Андреич уже сидел в санях, наполняя своей одетою в двух шубах спиной почти весь гнущий задок саней, и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь. Никита на ходу примостился спереди с левой стороны и высунул одну ногу.

II

Добрый жеребец с легким скрипом полозьев сдвинул санки и бойкой ходою тронулся по накатанной в поселке морозной дороге.

– Ты куда прицепился? Дай сюда кнут, Микита! – крикнул Василий Андреич, очевидно радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях. – Я тебя! Беги к мамаше, сукин сын.

Мальчик соскочил. Мухортый прибавил иноходи и, заекав, перешел на рысь.

Кресты, в которых стоял дом Василия Андреича, состояли из шести домов. Как только они выехали за последнюю кузнецова избу, они тотчас же заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличать только по тому, что она была выше остального места. По всему полю курило, и не видно было той черты, где земля сходится с небом. Телятинский лес, всегда хорошо видный, только изредка смутно чернел через снежную пыль. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву на крутой, наеденной шее Мухортого, и сворачивал набок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу.

– Бегу ей настоящего нет, снежно, – сказал Василий Андреич, гордясь своей хорошей лошадью. – Я раз в Пашутино ездил на нем же, так он в полчаса доставил.

– Чаго? – спросил, не расслышав из-за воротника, Никита.

– В Пашутино, говорю, в полчаса доехал, – прокричал Василий Андреич.

– Что и говорить, лошадь добрая! – сказал Никита.

Они помолчали. Но Василию Андреичу хотелось говорить.

– Что ж, хозяине-то, я чай, наказывал бондаря не поить? – заговорил тем же громким голосом Василий Андреич, столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он, и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите.

Никита опять не рассыпал относимый ветром звук слов хозяина.

Василий Андреич повторил своим громким, отчетливым голосом свою шутку о бондаре.

– Бог с ними, Василий Андреич, я не вникаю в эти дела. Мне чтобы малого она не обижала, а то бог с ней.

– Это так, – сказал Василий Андреич. – Ну, а что ж, лошадь-то будешь покупать к весне? – начал он новый предмет разговора.

– Да не миновать, – отвечал Никита, отворотив воротник кафана и перегнувшись к хозяину.

Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал все слышать.

– Малый вопрос, надо самому пахать, а то все наймали, – сказал он.

– Что ж, берите бескостречного, дорого не положу! – прокричал Василий Андреич, чувствуя себя возбужденным и вследствие этого нападая на любимое, поглощавшее все его умственные силы, занятие – барышничество.

– А то рубликов пятнадцать дадите, я на конной куплю, – сказал Никита, знаяший, что красная цена бескостречному, которого хочет ему сбыть Василий Андреич, рублей семь, а что Василий Андреич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в двадцать пять, и тогда за полгода не увидишь от него денег.

– Лошадь хорошая. Я тебе желаю, как самому себе. По совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то, чтобы как другие. По чести, – прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям. – Лошадь настоящая!

– Как есть, – сказал Никита, вздохнув, и, убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо.

С полчаса они ехали молча. Ветер продувал Никите бок и руку, где шуба была прорвана.

Он пожимался и дышал в воротник, закрывавший ему рот, и ему всему было нехолодно.

– Что, как думаешь, на Карамышево поедем али прямо? – спросил Василий Андреич.

На Карамышево езда была по более бойкой дороге, установленной хорошиими вешками в два ряда, но – дальше. Прямо было ближе, но дорога была мало езжена и вешек не было или были плохенькие, занесенные.

Никита подумал немного.

– На Карамышево хоть и подальше, да ездовитее, – проговорил он.

– Да ведь прямо только лощинку проехать не сбиться, а там лесом хорошо, – сказал Василий Андреич, которому хотелось ехать прямо.

– Воля ваша, – сказал Никита и опять пустил воротник.

Василий Андреич так и сделал и, отъехав с полверсты, у высокой, мотавшейся от ветра дубовой ветки, с сухими, кой-где державшимися на ней листьями, свернул влево.

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru
Ветер с поворота стал им почти встречный. И сверху пошел снежок. Василий Андреич правил, надувал щеки и пускал дух себе снизу в усы. Никита дремал.

Они молча проехали так минут десять. Вдруг Василий Андреич заговорил что-то.

– Чаго? – спросил Никита, открывая глаза.

Василий Андреич не отвечал, а изгибался, оглядываясь назад и вперед перед лошадью. Лошадь, закурчавившаяся от пота в пахах и на шее, шла шагом.

– Чаго ты, говорю? – повторил Никита.

– Чаго, чаго, – передразнил его Василий Андреич сердито. – Вешек не видать! Должно, сбились!

– Так стой же, я дорогу погляжу, – сказал Никита и, легко соскочив с саней и достав кнут из-под соломы, пошел влево и с той стороны, с которой сидел.

Снег в этом году был неглубокий, так что везде была дорога, но все-таки кое-где он был по колено и засыпался Никите в сапог. Никита ходил, щупал ногами и кнутом, но дороги нигде не было.

– Ну что? – сказал Василий Андреич, когда Никита подошел опять к саням.

– С этой стороны нету дороги. Надо в ту сторону пойти походить.

– Вон что-то впереди чернеет, ты туда дойди погляди, – сказал Василий Андреич.

Никита пошел и туда, подошел к тому, что чернелось, – это чернелась земля, насыпавшаяся с оголенных озимей сверх снега и красившая снег черным. Походив и справа, Никита вернулся к саням, обил с себя снег, вытряхнул его из сапога и сел в сани.

– Вправо ехать надо, – сказал он решительно. – Ветер мне в левый бок был, а теперь прямо в морду. Пошел вправо! – решительно сказал он.

Василий Андреич послушал его и взял вправо. Но дороги все не было. Они проехали так несколько времени. Ветер не уменьшался, и пошел снежок.

– А мы, Василий Андреич, видно, вовсе сбились, – вдруг сказал как будто с удовольствием Никита. – Это что? – сказал он, указывая на черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега.

Василий Андреич остановил уже вспотевшую и тяжело водившую крутыми боками лошадь.

– А что? – спросил он.

– А то, что мы на Захаровском поле. Вон куда заехали!

– Вре? – откликнулся Василий Андреич.

– Не вру я, Василий Андреич, а правду говорю, – сказал Никита, – и по саням слышно – по картофелищу едем, а вон и кучи, – ботву свозили. Захаровское заводское поле.

– Вишь ты, куда сбились! – сказал Василий Андреич. – Как же быть-то?

– А надо прямо брать, вот и все, куда-нибудь да выедем, – сказал Никита. – Не в Захаровку, так на барский хутор выедем.

Василий Андреич послушался и пустил лошадь, как велел Никита. Они ехали так довольно долго. Иногда они выезжали за оголенные зеленя, и сани гремели по колчам мерзлой земли, иногда выезжали на жнивье, то на озимое, то на яровое, по которым из-под снега виднелись мотавшиеся от ветра полыни и соломины; иногда выезжали в глубокий, везде одинаково белый ровный снег, сверх которого уже ничего не было видно.

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru
Снег шел сверху и иногда поднимался снизу. Лошадь, очевидно, уморилась, вся закурчавилась и заинdevела от пота и шла шагом. Вдруг она оборвала села в водомоину или в канаву. Василий Андреич хотел остановить, но Никита закричал на него.

– Чего держать! Заехали – выезжать надо. Но, миленький! но! но, родной! – закричал он веселым голосом на лошадь, высакивая из саней и сам увязая в канаве.

Лошадь рванулась и тотчас же выбралась на мерзлую насыпь. Очевидно, это была копаная канава.

– Где ж это мы? – сказал Василий Андреич.

– А вот узнаем! – отвечал Никита. – Трогай знай. Куда-нибудь выедем.

– А ведь это, должно, Горячкинский лес? – сказал Василий Андреич, указывая на что-то черное, показавшееся из-за снега, впереди их.

– Вот подъедем, увидим, какой такой лес, – сказал Никита.

Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жилье, но не хотел говорить.

И действительно, не проехали они еще и десяти саженей после канавы, как перед ними зачернелись, очевидно, деревья и послышался какой-то новый унылый звук. Никита угадал верно: это был не лес, а ряд высоких лозин с кое-где трепавшимися еще на них листьями. Лозины, очевидно, были обсажены по канаве гумна. Подъехав к унуло гудевшему на ветру лозинам, лошадь вдруг поднялась передними ногами выше саней, выбралась и задними на возвышение, повернула влево и перестала утопать в снегу по колени. Это была дорога.

– Вот и приехали, – сказал Никита, – а незнамо куда.

Лошадь, не сбиваясь, пошла по занесенной дороге, и не проехали они по ней сорока саженей, как зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей, с которой не переставая сыпался снег. Миновав ригу, дорога повернула по ветру, и они въехали в сугроб. Но впереди виднелся проулок между двумя домами, так что, очевидно, сугроб надуло на дороге и надо было переехать его. И действительно, переехав сугроб, они въехали в улицу. У крайнего двора на веревке отчаянно трепалось от ветра развешанное замерзшее белье: рубахи, одна красная, одна белая, портки, онучи и юбка. Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами.

– Виши, баба ленивая, а либо умирает, белье к празднику не собрала, – сказал Никита, глядя на мотавшиеся рубахи.

III

В начале улицы еще было ветрено, и дорога была заметена, но в середине деревни стало тихо, тепло и весело. У одного двора лаяла собака, у другого баба, закрывшись головой поддевкой, прибежала откуда-то и зашла в дверь избы, остановившись на пороге, чтобы поглядеть на проезжающих. Из середины деревни слышались песни девок.

В деревне, казалось, и ветра и снега и мороза было меньше.

– А ведь это Гришкино, – сказал Василий Андреич.

– Оно и есть, – отвечал Никита.

И действительно, это было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст восемь не совсем в том направлении, которое им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения. До Горячкина от Гришкина было верст пять.

В середине деревни они наткнулись на высокого человека, шедшего посередине улицы.

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru
– Кто едет? – крикнул этот человек, останавливая лошадь, и тотчас же, узнав Василия Андреича, схватился за оглоблю и, перебирая по ней руками, дошел до саней и сел на облучок.

Это был знакомый Василию Андреичу мужик Исаи, известный в округе за первого конокрада.

– А, Василий Андреич! Куда ж это вас бог несет? – сказал Исаи, обдавая Никиту запахом выпитой водки.

– Да мы в Горячкино было.

– Вона куда заехали! Вам бы на Малахово надо.

– Мало что надо. Да не потрафили, – сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

– Лошадка-то добрая, – сказал Исаи, оглядывая лошадь и затягивая ей привычным движением под самую репицу ослабший узел завязанного густого хвоста.

– Что же, ночевать, что ли?

– Не, брат, обязательно ехать надо.

– Нужно, видно. А это чей? А! Никита Степаныч!

– А то кто же? – отвечал Никита. – А вот как бы, душа милая, нам тут не сбиться опять.

– Где же тут сбиться! Поворачивай назад, по улице прямо, а там, как выедешь, все прямо. Влево не бери. Выедешь на большак, а тогда – вправо.

– Поворот-то с большака где? По летнему или по зимнему? – спросил Никита.

– По зимнему. Сейчас, как выедешь, кустики, насупротив кустиков еще вешка большая дубовая, кудрявая стоит, – тут и есть.

Василий Андреич повернулся лошадь назад и поехал слободой.

– А то ночевали бы! – прокричал им сзади Исаи.

Но Василий Андреич не отвечал ему и потрогивал лошадь; пять верст ровной дороги, из которых две были лесом, казалось, легко проехать, тем более что ветер как будто затих и снег переставал.

Проехав опять улицей по накатанной и черневшей кое-где свежим навозом дороге и миновав двор с бельем, у которого белая рубаха уже сорвалась и висела на одном мерзлом рукаве, они опять выехали к страшно гудевшим лозинам и опять очутились в открытом поле. Метель не только не стихала, но, казалось, еще усилилась. Дорога вся была замечена, и можно было знать, что не сбился, только по вешкам. Но и вешки впереди трудно было рассматривать, потому что ветер был встречный.

Василий Андреич щурился, нагибал голову и разглядывал вешки, но больше пускал лошадь, надеясь на нее. И лошадь действительно не сбивалась, а шла, поворачивая то вправо, то влево по извилинам дороги, которую она чуяла под ногами. Так что, несмотря на то что снег сверху усилился и усилился ветер, вешки продолжали быть видны то справа, то слева.

Так проехали они минут десять, как вдруг прямо перед лошадью показалось что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега. Это были попутчики. Мухорты совсем догнал их и стукал ногами об кресла впереди едущих саней.

– Объезжай... а-а-й... передом! – кричали из саней.

Василий Андреич стал объезжать. В санях сидело три мужика и баба. Очевидно, это ехали гости с праздника. Один мужик хлестал засыпанный снегом зад лошаденки хворостиной. Двое, махая руками, кричали что-то в передке. Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь сидела, нахохлившись, в задке саней.

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru

- Чьи будете? – закричал Василий Андреич.
- А-а-а... ские! – только слышно было.
- Чьи, говорю?
- А-а-а... ские! – из всех сил закричал один из мужиков, но все-таки нельзя было расслышать, какие.
- Вали! Не сдавай! – кричал другой, не переставая молотить хворостиной по лошаденке.
- От праздника, видно?
- Пошел! пошел! Вали, Семка! Объезжай! Вали!

Сани стукнулись друг о друга отводами, чуть не зацепились, расцепились, и мужицкие сани стали отставать.

Косматая, вся засыпанная снегом, брюхастая лошаденка, тяжело дыша под низкой дугой, очевидно из последних сил тщетно стараясь убежать от ударявшей ее хворостины, ковыляла своими коротенькими ногами по глубокому снегу, подкидывая их под себя. Морда, очевидно молодая, с подтянутой, как у рыбы, нижней губой, с расширенными ноздрями и прижатыми от страха ушами, подержалась несколько секунд подле плеча Никиты, потом стала отставать.

– Вино-то что делать, – сказал Никита. – На отделку замучали лошаденку. Азиаты как есть!

Несколько минут слышны были сопенье ноздрей замученной лошаденки и пьяные крики мужиков, потом затихло сопенье, потом замолкли и крики. И кругом опять ничего не стало слышно, кроме свистящего около ушей ветра и изредка слабого скрипа полозьев по сдутым местам дороги.

Встреча эта развеселила и ободрила Василия Андреича, и он смелее, не разбирая вешек, погнал лошадь, надеясь на нее. Никите делать было нечего, и, как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, наверстывая много недоспанного времени. Вдруг лошадь остановилась, и Никита чуть не упал, клюнув вперед носом.

– А ведь мы опять неладно едем, – сказал Василий Андреич.

– А что?

– Да вешек не видать. Должно, опять сбились с дороги.

– А сбились с дороги, поискать надо, – коротко сказал Никита, встал и опять, легко шагая своими внутрь вывернутыми ступнями, пошел ходить по снегу.

Он долго ходил, скрываясь из вида, опять показываясь и опять скрываясь, и наконец вернулся.

– Нет тут дороги, может, впереди где, – сказал он, садясь на сани.

Начинало уже заметно смеркаться. Метель не усиливалась, но и не слабела.

– Хоть бы тех мужиков услыхать, – сказал Василий Андреич.

– Да вишь не догнали, должно, далеко сбились. А може, и они сбились, – сказал Никита.

– Куда же ехать-то? – сказал Василий Андреич.

– А пустить лошадь надо, – сказал Никита. – Он приведеть. давай вожжи.

Василий Андреич отдал вожжи тем более охотно, что руки его в теплых перчатках начинали зябнуть.

Никита взял вожжи и только держал их, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум
Страница 9

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru своего любимца. Действительно, умная лошадь, повертывая то в одну, то в другую сторону то одно, то другое ухо, стала понемногу поворачивать.

– Только не говорить, – приговаривал Никита. – Вишь, что делаеть! Иди, иди, знай! Так, так.

Ветер стал дуть взад, стало теплее.

– И умен же, – продолжал радоваться на лошадь Никита. – Киргизенок тот силен, а глуп. А этот, гляди, что ушами делаеть. Никакого телеграфа не надо, за версту чуешь.

И не прошло еще получаса, как впереди действительно зачернело что-то: лес ли, деревня, и с правой стороны показались опять вешки. Очевидно, они опять выехали на дорогу.

– А ведь это опять Гришкино, – вдруг проговорил Никита.

Действительно, теперь слева у них была та самая рига, с которой несло снег, и дальше та же веревка с замерзшим бельем, рубахами и портками, которые все так же отчаянно трепались от ветра.

Опять они въехали в улицу, опять стало тихо, тепло, весело, опять стала видна навозная дорога, опять послышались голоса, песни, опять залаяла собака. Уже настолько смерклось, что в некоторых окнах засветились огни.

Посередине улицы Василий Андреич повернул лошадь к большому, в две кирпичные связи, дому и остановил ее у крыльца.

Никита подошел к занесенному освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки, и постучал кнутовищем.

– Кто там? – откликнулся голос на призыв Никиты.

– С Крестов, Брехуновы, милый человек, – отвечал Никита. – Выдь-ка на час.

От окна отошли, и через минуты две – слышно было – отлипла дверь в сенях, потом стукнула щеколда в наружной двери и, придерживая дверь от ветра, высунулся высокий старый с белой бородой мужик в накинутом полушибке сверх белой праздничной рубахи и за ним малый в красной рубахе и кожаных сапогах.

– Ты, что ли, Андреич? – сказал старик.

– Да вот заплутали, брат, – сказал Василий Андреич, – хотели в Горячкино, да вот к вам попали. Отъехали, опять заплутали.

– Вишь как сбились, – сказал старик. – Петрушка, поди отвори ворота! – обратился он к малому в красной рубахе.

– Это можно, – отвечал малый веселым голосом и побежал в сени.

– Да мы, брат, не ночевать, – сказал Василий Андреич.

– Куда ехать – ночное время, ночуй.

– И рад бы ночевать, да ехать надо. Дела, брат, нельзя.

– Ну, погрейся по крайности, прямо к самовару, – сказал старик.

– Погреться – это можно, – сказал Василий Андреич, – темнее не будет, а месяц взойдет – посветлеет. Зайдем, что ль, погреемся, Микит.

– Ну, что ж, и погреться можно, – сказал Никита, сильно перезябший и очень желавший отогреть в тепле свои зазябшие члены.

Василий Андреич пошел со стариком в избу, а Никита въехал в отворенные Петрушкой ворота и, по указанию его, вдвинул лошадь под навес сарая. Сарай был поднавоженный, и высокая дуга зацепила за перемет. Уже усевшиеся на перемете

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru
куры с петухом что-то недовольно заквахтали и поцапались лапками по перемету.
Встревоженные овцы, топая копытами по мерзлому навозу, шарахнулись в сторону.
Собака, отчаянно взвизгивая, с испугом и злостью по-щеняччи заливалась-ляяла на чужого.

Никита поговорил со всеми: извинился перед курами, успокоил их, что больше не потревожит, упрекнул овец за то, что они пугаются, сами не зная чего, и не переставая усовещевал собачонку в то время, как привязывал лошадь.

– Вот так-то и ладно будеть, – сказал он, охлопывая с себя снег. – Вишь заливается! – прибавил он на собаку. – Да будеть тебе! Ну, буде, глупая, буде. Только себя беспокоишь, – говорил он. – Не воры, свои...

– А это, как сказано, три домашние советника, – сказал малый, закидывая сильной рукой под навес оставшиеся наружу санки.

– Это как же советники? – сказал Никита.

– А так в Пульсоне напечатывано: вор подкрадывается к дому, собака лает, – не зевай, значит, смотри. Петух поет, – значит, вставай. Кошка умывается, – значит, дорогой гость, приготовясь угостить его, – проговорил малый, улыбаясь.

Петруха был грамотный и знал почти наизусть имевшуюся у него единственную книгу Паульсона и любил, особенно когда он был немного выпивши, как нынче, приводить из нее казавшиеся ему подходящими к случаю изречения.

– Это точно, – сказал Никита.

– Прозяб, я чай, дядюшка? – прибавил Петруха.

– Да есть-таки, – сказал Никита. И они пошли через двор и сени в избу.

IV

Двор, в который заехал Василий Андреич, был один из самых богатых в деревне. Семья держала пять наделов и принанимала еще землю на стороне. Лошадей во дворе было шесть, три коровы, два подтелка, штук двадцать овец. Всех семейных во дворе было двадцать две души, четыре сына женатых, шестеро внуков, из которых один Петруха был женатый, два правнука, трое сирот и четыре снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделеными; но и в нем уже шла глухая внутренняя, как всегда начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. Два сына жили в Москве в водовозах, один был в солдатах. Дома теперь были старик, старуха, второй сын хозяин и старший сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети; кроме домашних, был еще гость-сосед и кум.

Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены, в красном углу увешанные иконами и по обе стороны их картинами. На первом месте сидел за столом в одном черном полушибке Василий Андреич, обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястремиными глазами. Кроме Василия Андреича, за столом сидел лысый, белобородый старик-хозяин в белой домотканой рубахе; рядом с ним в тонкой ситцевой рубахе, с здоровенной спиной и плечами – сын, приехавший из Москвы на праздник, и еще другой сын, широкоплечий, старший брат, хозяйствничавший в доме, и худощавый рыжий мужик – сосед.

Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уж гудел, стоя на полу у печки. На полатях и на печке виднелись ребята. На нарах сидела баба над лулькою. Старушка-хозяйка, с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками, морщившимися даже ее губы, лицом, ухаживала за Василием Андреичем.

В то время как Никита входил в избу, она, налив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю.

– Не обессудь, Василий Андреич, нельзя, проздравить надо, – говорила она. – Выкушай, касатик.

Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смущали Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru и, как бы не видя никого, три раза перекрестился и поклонился образам, потом, обернувшись к хозяину-старику, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря: «С праздником», стал раздеваться, не глядя на стол.

– Ну и заиндевел же ты, дядя, – сказал старший брат, глядя на запущенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты.

Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу. Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы: он чуть не взял стаканчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу, но он взглянул на Василия Андреича, вспомнил зарок, вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался.

– Не пью, благодарим покорно, – сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку.

– Что ж так? – сказал старший брат.

– Не пью, да и не пью, – сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиценькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки.

– Ему не годится, – сказал Василий Андреич, закусывая баракой выпитый стаканчик.

– Ну так чайку, – сказала ласковая старушка. – Я чай, иззяб, сердечный. Что вы, бабы, с самоваром копаетесь?

– Готов, – отвечала молодайка и, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол.

Между тем Василий Андреич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать.

– Тут до Молчановки малый ребенок доедет, только потрафить на повороте с большака, – куст тут видать. А вы не доехали! – говорил сосед.

– А то ночевали бы. Бабы постелют, – уговаривала старушка.

– Утром поехали бы, разлюбезное дело, – подтверждал старики.

– Нельзя, брат. Дела! – сказал Василий Андреич. – Час упустишь, годом не наверстаешь, – добавил он, вспоминая о роще и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку. – Доедем ведь? – обратился он к Никите.

Никита долго не отвечал, все как будто озабоченный оттаиванием бороды и усов.

– Не сбиться бы опять, – сказал он мрачно.

Никита был мрачен потому, что ему страстно хотелось водки, и одно, что могло затушить это желание, был чай, а чая еще ему не предлагали.

– Да ведь только до поворота бы доехать, а там уж не собьемся: лесом до самого места, – сказал Василий Андреич.

– Дело ваше, Василий Андреич; ехать так ехать, – сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чая.

– Напьемся чайку, да и марш.

Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои, с всегда напухшими от работы пальцами, руки. Потом, откусив крошечный кусочек сахара, он поклонился хозяевам и проговорил:

– Будьте здоровы, – и потянул в себя согревающую жидкость.

- Кабы проводил кто до поворота, - сказал Василий Андреич.
- Что ж, это можно, - сказал старший сын. - Петруха запряжет, да и проводит до поворота.
- Так запрягай, брат. А уж я поблагодарю.
- И, чего ты, касатик! - сказала ласковая старушка. - Мы рады душой.
- Петруха, иди запряги кобылу, - сказал старший брат.
- Это можно, - сказал Петруха улыбаясь и тотчас же, сорвав с гвоздя шапку, побежал запрягать.

Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем остановился в то время, как Василий Андреич подъехал к окну. Стариk жаловался соседу-старосте на третьего сына, не приславшего ему ничего к празднику, а жене приславшего французский платок.

- Отбивается народ молодой от рук, - говорил стариk.
- Как отбивается-то, - сказал кум-сосед, - сладу нет. Больно умны стали. Вон Демочкин - так отцу руку сломал. Все от большого ума, видно.

Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось все теплее и теплее, и приятнее и приятнее. Разговор продолжался долго все об одном и том же - о вреде разделов, и разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме, - разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было большое место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но наконец стариk не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него слава богу, а разделить - все по миру пойдут.

- Вот как Матвеевы, - сказал сосед. - Был дом настоящий, а разделили - ни у кого ничего нет.
- Так-то и ты хочешь, - обратился стариk к сыну.

Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание это перервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся на несколько минут перед этим в избу и все время улыбавшийся.

- Так-то у Пульсона есть басня, - сказал он, - дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по прутику легко. Так и это, - сказал он, улыбаясь во весь рот. - Готово! - прибавил он.
- А готово, так поедем, - сказал Василий Андреич. - А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал - ты и хозяин. Мировому подай. Он порядок укажет.
- Так фордыбачить, так фордыбачить, - плаксивым голосом говорил все свое стариk, - что нет с ним ладов. Как осатанел ровно.

Никита между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не перевернул его, а положил боком, надеясь, что ему нальют еще шестой. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреич стал одеваться. Нечего было делать. Никита тоже встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахара, отер полою мокрею от пота лицо и пошел надевать халат.

Одеввшись, он тяжело вздохнул и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой, светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени и оттуда на темный двор.

Петруха в шубе стоял с своей лошадью посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутить, аж как зверь она зовоить, аж заплачить как дите».

Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи.

Старик, провожая Василия Андреича, вынес фонарь в сени и хотел посветить ему, но фонарь тотчас же задул. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильней.

«Ну уж погодка, – подумал Василий Андреич, – пожалуй, и не доедешь; да нельзя, дела! да и собрался уж, и лошадь хозяйская запряжена. Доедем, бог даст!»

Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать; но он уже уговаривал оставаться, его не послушали. Больше просить нечего. «Может, я от старости так робею, а они доедут, – думал он. – Да и по крайности спать ляжем вовремя. Без хлопот».

Петруха же и не думал об опасности: он так знал дорогу и всю местность, а кроме того, стишок о том, как «вихри снежные крутятъ», бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе. Никите же вовсе не хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим. Так что никто не удержал отезжающих.

В

Василий Андреич подошел к саням, с трудом разбирая в темноте, где они, влез в них и взял вожжи.

– Пошел передом! – крикнул он.

Петруха, стоя на коленках в розвальнях, пустил свою лошадь. Мухортый, уже давно ржавший, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выехали на улицу. Опять поехали слободой и той же дорогой, мимо того же двора с развешанным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было; мимо того же сарая, который уже был занесен почти до крыши и с которого сыпался бесконечный снег; мимо тех же мрачно шумящих, свистящих и гнувшихся лозин и опять въехали в то снежное, сверху и снизу бушевавшее море. Ветер был так силен, что когда он был в бок и седоки парусили против него, то он накренивал набок санки и сбивал лошадь в сторону. Петруха ехал развалистой рысцой своей доброй кобылы впереди и бодро покрикивал. Мухортый рвался за нею.

Проехав так минут десять, Петруха обернулся и что-то прокричал. Ни Василий Андреич, ни Никита не слышали от ветра. Но догадались, что они приехали к повороту. Действительно, Петруха повертил направо, и ветер, бывший в бок, опять стал навстречу, и справа сквозь снег завиднелось что-то черное. Это был кустик на повороте.

- Ну, с богом!
- Спасибо, Петруха!
- «Буря небо мглою скроить», – прокричал Петруха и скрылся.
- Вишь, стихотворец какой, – проговорил Василий Андреич и тронул вожжами.
- Да, молодец хороший, мужик настоящий, – сказал Никита.

Поехали дальше.

Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегала ему шею, сидел молча, стараясь не потерять набранное в избе за чаем тепло. Перед собой он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывавшие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющийся зад лошади с заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом и дальше, впереди, высокую дугу и качающуюся голову и шею лошади с развеивающейся гривой. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего.

Василий Андреич правил, предоставляя лошади самой держаться дороги. Но Мухортый, несмотря на то что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреич несколько раз направлял его.

«Вот справа одна вешка, вот другая, вот и третья, – считал Василий Андреич, – а

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru вот впереди и лес», — подумал он, взглядываясь во что-то чернеющее впереди его. Но то, что показалось ему лесом, был только куст. Куст проехали, проехали еще сажен двадцать, четвертой вешки не было и леса не было. «должен сейчас быть лес», — думал Василий Андреич и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное, доброе животное слушалось и то иноходью, то небольшой рысцой бежало туда, куда его посылали, хотя и знало, что его посылают совсем не туда, куда надо. Прошло минут десять, леса все не было.

— А ведь мы опять сбились! — сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

Никита молча вылез из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по ветру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу; пошел в одну сторону, пошел в другую. Разва три он скрывался совсем из вида. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреича.

— Вправо ехать надо, — сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь.

— Ну, вправо, так вправо пошел, — сказал Василий Андреич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава.

Никита не отвечал.

— Ну, дружок, потрудись, — крикнул он на лошадь, но лошадь, несмотря на потряхивание вожжей, шла только шагом.

Снег был кое-где по колено, и сани подергивались рывом с каждым движением лошади.

Никита достал кнут, висевший на передке, и стегнул. Добрая, непривычная к кнуту лошадь рванулась, пошла рысью, но тотчас же опять перешла на иноходь и шаг. Так проехали минут пять. Было так темно и так курило сверху и снизу, что дуги иногда не было видно. Саны, казалось, иногда стояли на месте, и поле бежало назад. Вдруг лошадь круто остановилась, очевидно чуя что-то неладное перед собой. Никита опять легко выскочил, бросая вожжи, и пошел вперед лошади, чтобы посмотреть, чего она остановилась; но только что он хотел ступить шаг перед лошадью, как ноги его поскользнулись и он покатился под какую-то кручь.

— Тпру, тпру, тпру, — говорил он себе, падая и стараясь остановиться, но не мог удержаться и остановился только, врезавшись ногами в нанесенный внизу оврага толстый слой снега.

Нависший с края кручи сугроб, растревоженный падением Никиты, насыпался на него и засыпал ему снегу за шиворот.

— Эка ты как! — укоризненно проговорил Никита, обращаясь к сугробу и к оврагу и вытряхивая снег из-за воротника.

— Микит, а Микит! — кричал Василий Андреич сверху.

Но Никита не откликался.

Ему некогда было: он отряхался, потом отыскивал кнут, который выронил, когда скатился под кручу. Найдя кнут, он полез было прямо назад, где скатился; но влезть не было возможности: он скатывался назад, так что должен был низом пойти искать выхода кверху. Сажени на три от того места, где он скатился, он с трудом вылез на четвереньках на гору и пошел по краю оврага к тому месту, где должна была быть лошадь. Лошади и саней он не видал; но так как он шел на ветер, он, прежде чем увидал их, услыхал крики Василия Андреича и ржанье Мухортого, звавших его.

— Иду, иду. Чего гогочешь? — проговорил он.

Только совсем уже дойдя до саней, он увидел лошадь и стоявшего возле них Василия Андреича, казавшегося огромным.

— Куда, к дьяволу, запропастился? Назад ехать надо. Хоть в Гришкино вернемся, — сердито стал выговаривать Никите хозяин.

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru
– И рад бы вернуться, Василий Андреич, да куда ехать-то? Тут овражище такой, что попади туда, и не выберешься. Я туда засветил так, что насилиу выдрался.

– Что ж, не стоять же тут? Куда-нибудь надо же ехать, – сказал Василий Андреич.

Никита ничего не отвечал. Он сел на сани задом к ветру, разулся и вытряхнул снег, набившийся ему в сапоги, и, достав соломки, старательно заткнул ею изнутри дыру в левом сапоге.

Василий Андреич молчал, как бы предоставив теперь уже все Никите. Переобувшись, Никита убрал ноги в сани, надел опять рукавицы, взял вожжи и повернулся лошадь вдоль оврага. Но не проехали они и ста шагов, как лошадь опять уперлась. Перед ней опять был овраг.

Никита опять вылез и опять пошел лазить по снегу. Довольно долго он ходил. Наконец появился с противоположной стороны, с которой он пошел.

– Андреич, живы? – крикнул он.

– Здесь, – откликнулся Василий Андреич. – Ну, что?

– Да не разберешь никак. Темно. Овраги какие-то. Надо опять на ветер ехать.

Опять поехали, опять ходил Никита, лазя по снегу. Опять садился, опять лазил и наконец, запыхавшись, остановился у саней.

– Ну, что? – спросил Василий Андреич.

– Да что, вымотался я весь. Да и лошадь становится.

– Так что же делать?

– Да вот, постой.

Никита опять ушел и скоро вернулся.

– Держи за мной, – сказал он, заходя перед лошадью.

Василий Андреич уже не приказывал ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита.

– Сюда за мной! – закричал Никита, отходя быстро вправо и хватая за вожжку Мухортого и направляя его куда-то книзу, в сугроб.

Лошадь сначала уперлась, но потом рванулась, надеясь проскочить сугроб, но не осилила и села в него по хомуту.

– Вылезай! – закричал Никита на Василия Андреича, продолжавшего сидеть в санях, и, подхватив под одну оглоблю, стал надвигать сани на лошадь. – Трудненько, брат, – обратился он к Мухортому, – да что ж делать, понатужься! но, но, немного! – крикнул он.

Лошадь рванулась раз, другой, но все-таки не выбралась и опять села, как будто что-то обдумывала.

– Что ж, брат, так неладно, – усовещивал Никита Мухортого. – Ну, еще!

Опять Никита потащил за оглоблю с своей стороны; Василий Андреич делал то же с другой. Лошадь пошевелила головой, потом вдруг рванулась.

– Ну! но! не потонешь, небось, – кричал Никита.

Прыжок, другой, третий, и наконец лошадь выбралась из сугроба и остановилась, тяжело дыша и отряхиваясь. Никита хотел вести дальше, но Василий Андреич так запыхался в своих двух шубах, что не мог идти и повалился в сани.

– Дай вздохнуть, – сказал он, распуская платок, которым он повязал в деревне воротник шубы.

– Тут ничего, ты лежи, – сказал Никита, – я проведу, – и с Василем Андреичем в санях провел лошадь под уздцы вниз шагов десять и потом немного вверх и остановился.

Место, на котором остановился Никита, было не в лощине, где бы снег, сметаемый с бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их, но оно все-таки отчасти было защищено краем оврага от ветра. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесятеренной силой и еще злее рвала и крутила. Такой порыв ветра ударили в ту минуту, как Василий Андреич, отышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать. Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва. Мухортый тоже недовольно прижал уши и тряс головой. Как только немного прошел порыв ветра, Никита, сняв рукавицы и заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок.

– Ты что ж это делаешь? – спросил Василий Андреич.
– Отпрягаю, что ж еще делать? Мочи моей нет, – как бы извиняясь, отвечал Никита.
– А разве не выедем куда?
– Не выедем, только лошадь замучаем. Ведь он, сердечный, не в себе стал, – сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на все готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь. – Ночевать надо, – повторил он, точно как будто собирался ночевать на постоялом дворе, и стал развязывать супонь.

Клеши расскочились.

– А не замерзнем мы? – спросил Василий Андреич.
– Что ж? И замерзнешь – не откажешься, – сказал Никита.

VI

Василию Андреичу в своих двух шубах было совсем тепло, особенно после того, как он повозился в сугробе; но мороз пробежал у него по спине, когда он понял, что действительно надо ночевать здесь. Чтобы успокоиться, он сел в сани и стал доставать папиросы и спички.

Никита между тем распрягал лошадь. Он развязал подбрюшник, чресседельник, развозжал, снял гуж, вывернул дугу и, не переставая разговаривать с лошадью, ободрял ее.

– Ну, выходи, выходи, – говорил он, выводя ее из оглобель. – да вот привяжем тебя тут. Соломки подложу да размаздаю, – говорил он, делая то, что говорил. – Закусишь, тебе все веселее будет.

Но Мухортый, очевидно, не успокоивался речами Никиты и был тревожен; он переступал с ноги на ногу, жался к саням, становясь задом к ветру, и терся головой о рукав Никиты.

Как будто только для того, чтобы не отказать Никите в его угощении соломой, которую Никита подсунул ему под храп, Мухортый раз порывисто схватил пук соломы из саней, но тотчас же решил, что теперь дело не до соломы, бросил ее, и ветер мгновенно растрепал солому, унес ее и засыпал снегом.

– Теперь примету сделаем, – сказал Никита, повернув сани лицом к ветру, и, связав оглобли чресседельником, он поднял их вверх и притянул к передку. – Вот, как занесеть нас, добрые люди по оглоблям увидять, откопаюте, – сказал Никита, похлопывая рукавицами и надевая их. – Так-то старики учили.

Василий Андреич между тем, распустив шубу и закрываясь полами ее, тер одну серную спичку за другой о стальную коробку, но руки у него дрожали, и загоравшиеся спички одна за другую, то еще не разгоревшись, то в самую ту минуту, как он подносил ее к папирозе, задувались ветром. Наконец одна спичка вся загорелась и осветила на мгновение мех его шубы, его руку с золотым перстнем на загнутом внутрь указательном пальце и засыпанную снегом, выбившуюся из-под

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru веретья овсяную солому, и папироса загорелась. Раза два он жадно потянул, проглотил, выпустил сквозь усы дым, хотел еще затянуться, но табак с огнем сорвало и унесло туда же, куда и солому.

Но и эти несколько глотков табачного дыма развеселили Василия Андреича.

– Ночевать так ночевать! – сказал он решительно.

– Погоди же ты, я еще флаг сделаю, – сказал он, поднимая платок, который он, сняв с воротника, бросил было в сани, и, сняв перчатки, стал в передке саней и, вытягиваясь, чтобы достать до чресседельника, тугим узлом привязал к нему платок подле оглобли.

Платок тотчас же отчаянно затрапался, то прилипая к оглобле, то вдруг отдуваясь, натягиваясь и щелкая.

– Вишь, как ловко! – сказал Василий Андреич, любуясь на свою работу, опускаясь в сани. – Теплее бы вместе, да вдвоем не усядемся, – сказал он.

– Я место найду, – отвечал Никита, – только лошадь укрыть надо, а то взопрел сердечный. Пусти-ка, – прибавил он и, подойдя к саням, потянул из-под Василия Андреича веретье.

И, достав веретье, он сложил его вдвое и, скинув прежде шлею и сняв седелку, покрыл им Мухортого.

– Все теплее тебе будеть, дурачок, – говорил он, надевая опять на лошадь сверх веретья седелку и шлею. – А не нужна вам дерюжка будет? Да соломки мне дайте, – сказал Никита, окончив это дело и опять подойдя к саням.

И, забрав и то и другое из-под Василия Андреича, Никита зашел за спинку саней, выкопал себе там, в снегу, ямку, положил в нее соломы и, нахлобучив шапку и закутавшись кафтаном, а сверху покрывшись дерюжкой, сел на постланную солому, прислонясь к лубочному задку саней, защищавшему его от ветра и снега.

Василий Андреич неодобрительно покачал головой на то, что делал Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, и стал устраиваться на ночь.

Он разровнял оставшуюся солому по санкам, положил погуще себе под бок и, засунув руки в рукава, приладился головой в угол саней, к передку, защищавшему его от ветра.

Спать ему не хотелось. Он лежал и думал: думал все о том же одном, что составляло единственную цель, смысл, радость и гордость его жизни, – о том, сколько он нажил и может еще нажить денег; сколько другие, ему известные, люди нажили и имеют денег, и как эти другие наживали и наживают деньги, и как он, так же как и они, может нажить еще очень много денег. Покупка Горячклинского леса составляла для него дело огромной важности. Он надеялся на этом лесе поживиться сразу, может быть, десятком тысяч. И он стал в мыслях расценивать виденную им осенью рощу, в которой он на двух десятинах пересчитал все деревья.

«дуб на полозья пойдет. Срубы сами собой. Да дров сажен тридцать все станет на десятине, – говорил он себе. – С десятины на худой конец по двести с четвертной останется. Пятьдесят шесть десятин, пятьдесят шесть сотен, да пятьдесят шесть сотен, да пятьдесят шесть десятков, да еще пятьдесят шесть десятков, да пятьдесят шесть пятков». Он видел, что выходило за двенадцать тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. «Десяти тысяч все-таки не дам, а тысяч восемь, да чтоб за вычетом полян. Землемера помажу – сотню, а то полторы; он мне десятин пять полян намеряет. И за восемь отдаст. Сейчас три тысячи в зубы. Небось размякнет, – думал он, ощупывая предплечьем руки бумажник в кармане. – И как сбились с поворота, бог ее знает. Должен бы тут быть лес и сторожка. Собак бы слышно. Так не лают, проклятые, когда их нужно». Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться; слышен был все тот же свист ветра, в оглоблях трепанье и щелканье платка и стеганье по лубку саней падающего снега. Он закрылся опять.

«Кабы знать, ночевать бы остаться. Ну, да все одно, доедем и завтра. Только день лишний. В такую погоду и те не поедут». И он вспомнил, что к девятому надо

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru

получить за валухов с мясника деньги. «Хотел сам приехать; не застанет меня – жена не сумеет деньги взять. Очень уж необразована. Обхождения настоящего не знает», – продолжал он думать, вспоминая, как она не умела обойтись со становым, бывшим вчера на празднике у него в гостях. «Известно – женщина! Где она что видала? При родителях какой наш дом был? Так себе, деревенский мужик богатый: рушка да постоянный двор – и все имущество в том. А я что в пятнадцать лет сделал? Лавка, два кабака, мельница, сыпка, два имения в аренде, дом с амбаром под железной крышей, – вспоминал он с гордостью. – Не то что при родителе! Нынче кто в округе гремит? Брехунов».

«А почему так? Потому – дело помню, стараюсь, не так, как другие – лежни али глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Метель не метель – еду. Ну и дело делается. Они думают, так, шутя денежки наживаю. Нет, ты потрудись да голову поломай. Вот так-то заночуй в поле да夜里 не спи. Как подушка от думы в головах ворочается», – размышлял он с гордостью. «Думают, что в люди выходят по счастью. Вон, Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только бы дал бог здоровья».

И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь. Но говорить не с кем было... Кабы доехать до Горячкина, он бы поговорил с помещиком, вставил бы очки ему.

«Ишь ты, дует как! Занесет так, что и не выберемся утром!» – подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, который дул в передок, нагибая его, и сек его лубок снегом. Он приподнялся и оглянулся: в белой колеблющейся темноте видна была только чернеющая голова Мухортого и его спина, покрытая развевающимся веретьем, и густой завязанный хвост; кругом же со всех сторон, спереди, сзади была везде одна и та же однообразная, белая колеблющаяся тьма, иногда как будто чуть-чуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся.

«И напрасно послушался я Никиту, – думал он. – Ехать бы надо, все бы выехали куда-нибудь. Хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у Тараса. А то вот сиди ночь целую. Да что, бишь, хорошего было? Да, что за труды бог дает, а не лодырям, лежебокам или дуракам. Да и покурить надо!» Он сел, достал папиросочницу, лег брюхом вниз, закрывая полой от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другой. Наконец он ухитрился зажечь одну и закурил. То, что он добился своего, очень обрадовало его. Хотя папиреску выкурил больше ветер, чем он, он все-таки затянулся раза три, и ему опять стало веселей. Он опять привалился к задку, укутался и опять начал вспоминать, мечтать и совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал.

Но вдруг точно что-то толкнуло и разбудило его. Мухортый ли это дернул из-под него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его, только он проснулся, и сердце у него стало стучать так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся под ним. Он открыл глаза. Вокруг него было все то же, но только казалось светлее. «Светает, – подумал он, – должно и до утра недолго». Но тотчас же он вспомнил, что светлее стало только оттого, что месяц взошел. Он приподнялся, оглядел сначала лошадь. Мухортый стоял все задом к ветру и весь трясясь. Засыпанное снегом веретье заворотилось одной стороной, шлея съехала набок, и засыпанная снегом голова с развевающимися челкой и гривой были теперь виднее. Василий Андреич перегнулся к задку и заглянул за него. Никита сидел все в том же положении, в каком он сел. Дерюшка, которой он прикрывался, и ноги его были густо засыпаны снегом. «Не замерз бы мужик: плоха одежонка на нем. Еще ответишь за него. То-то народ бестолковый. Истинно необразованность», – подумал Василий Андреич и хотел было снять с лошади веретье и накрыть Никиту, но холодно было вставать и ворочаться, и лошадь, боялся, как бы не застыла. «И на что я его взял! Все ее глупость одна!» – подумал Василий Андреич, вспоминая немилую жену, и опять перевалился на свое прежнее место к передку саней. «Так-то дядюшка раз всю ночь в снегу просидел, – вспомнил он, – и ничего. Ну, а Севастьяна-то откопали, – тут же представился ему другой случай, – так тот помер, закоченел весь, как туша мороженая».

«Остался бы в Гришкином ночевать, ничего бы не было». И, старательно запахнувшись, так чтобы тепло меха нигде не пропадало даром, а везде – и в шее, и в коленах, и в ступнях – грело его, он закрыл глаза, стараясь опять заснуть. Но сколько он ни старался теперь, он не мог уже забыться, а, напротив, чувствовал себя совершенно бодрым и оживленным. Опять он начал считать барыши,

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru

долги за людьми, опять стал хвастаться сам перед собой и радоваться на себя и на свое положение, но все теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхом и досадной мыслью о том, зачем он не остался ночевать в Гришкином. «То ли дело: лежал бы на лавке, тепло». Он несколько раз переворачивался, укладывался, стараясь найти более ловкое и защищенное от ветра положение, но все ему казалось неловко; он опять приподнимался, переменял положение, укутывал ноги, закрывал глаза и зтихал. Но или скрюченные ноги в крепких валеных сапогах начинали ныть, или продувало где-нибудь, и он, полежав недолго, опять с досадой на себя вспоминал о том, как бы он теперь мог спокойно лежать в теплой избе в Гришкином, и опять поднимался, ворочался, кутался и опять укладывался.

Раз Василию Андреичу почудилось, что он слышит дальний крик петухов. Он обрадовался, отворотил шубу и стал напряженно слушать, но, сколько он ни напрягал слух, ничего не слышно было, кроме звука ветра, свистевшего в оглоблях и трепавшего платок, и снега, стегавшего об лубок саней.

Никита как сел с вечера, так и сидел все время, не шевелясь и даже не отвечая на обращения Василия Андреича, который раза два окликнул его. «Ему и Горюшка мало, спит должно», – с досадой думал Василий Андреич, заглядывая через задок саней на густо засыпанного снегом Никиту.

Василий Андреич вставал и ложился раз двадцать. Ему казалось, что конца не будет этой ночи. «Теперь уже, должно быть, близко к утру, – подумал он раз, поднимаясь и оглядываясь. – Дай, посмотрю на часы. Озябнешь раскрываться. Ну, да коли узнаю, что к утру дело, все веселее будет. Запрягать станем». Василий Андреич в глубине души знал, что не может быть еще утро, но он все сильнее и сильнее начинал робеть и хотел в одно и то же время и проверить и обмануть себя. Он осторожно распустил крючки полушибка и, засунув руку за пазуху, долго копался, пока достал до жилетки. Насилу-насилу вытащил он свои серебряные с эмальевыми цветками часы и стал смотреть. Без огня ничего не видно было. Он опять лег ничком на локти и на коленки, так же, как когда закуривал, достал спички, стал зажигать. Теперь он аккуратнее взялся за дело и, ощупав пальцами спичку с самым большим количеством фосфора, он с первого раза зажег ее. Подсунув циферблат под свет, он взглянул и глазам своим не верил... Было всего десять минут первого. Еще вся ночь была впереди.

«Ох, длинна ночь!» – подумал Василий Андреич, чувствуя, как мороз пробежал ему по спине, и, застегнувшись опять и укрывшись, он прижался к углу саней, собираясь терпеливо ждать. Вдруг из-за однообразного шума ветра он явственно услышал какой-то новый, живой звук. Звук равномерно усиливался и, дойдя до совершенной явственности, так же равномерно стал ослабевать. Не было никакого сомнения, что это был волк. И волк этот был так недалеко, что по ветру ясно было слышно, как он, ворочая челюстями, изменял звуки своего голоса. Василий Андреич откинул воротник и внимательно слушал. Мухорый так же напряженно слушал, поводя ушами, и, когда волк кончил свое колено, переставил ноги и предостерегающе фыркнул. После этого Василий Андреич уже никак не мог не только заснуть, но и успокоиться. Сколько он ни старался думать о своих расчетах, делах и о своей славе и своем достоинстве и богатстве, страх все больше и больше завладевал им, и над всеми мыслями преобладала и ко всем мыслям примешивалась мысль о том, зачем он не остался ночевать в Гришкине.

«Бог с ним, с лесом, без него дел, слава богу. Эх, ночевать бы! – говорил он себе. – Говорят, пьяные-то замерзают, – подумал он. – А я выпил». И, прислушиваясь к своему ощущению, он чувствовал, что начинал дрожать, сам не зная, от чего он дрожит – от холода или от страха. Он пробовал закрыться и лежать, как прежде, но уже не мог этого сделать. Он не мог оставаться на месте, ему хотелось встать, предпринять что-нибудь, с тем чтобы заглушить поднимающийся в нем страх, против которого он чувствовал себя бессильным. Он опять достал папироски и спички, но спичек уже оставалось только три, и все худшие. Все три ошмыгались, не загоревшись.

«А, черт тебя дери, проклятая, провались ты!» – обругал он, сам не зная кого, и швырнул смятую папироску. Хотел швырнуть и спичечницу, но остановил движение руки и сунул ее в карман. На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше оставаться на месте. Он вылез из саней и, став задом к ветру, начал туго и низко вновь перепоясываться.

«Что лежать-то, смерти дожидаться! Сесть верхом да и марш, – вдруг пришло ему в

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru
голову. – Верхом лошадь не станет. Ему, – подумал он на Никиту, – все равно умирать. Какая его жизнь! Ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем пожить...»

И он, отвязав лошадь, перекинул ей поводья на шею и хотел вскочить на нее, но шубы и сапоги были так тяжелы, что он сорвался. Тогда он встал на сани и хотел с саней сесть. Но сани покачнулись под его тяжестью, и он опять оборвался. Наконец в третий раз он подвинул лошадь к саням и, осторожно став на край их, добился-таки того, что лег брюхом поперек спины лошади. Полежав так, он посунулся вперед раз, два и, наконец, перекинул ногу через спину лошади и уселся, упираясь ступнями ног на долевой ремень шлеи. Толчок пошатнувшихся саней разбудил Никиту, и он приподнялся, и Василию Андреичу показалось, что он говорит что-то.

– Слушай вас, дураков. Что ж, пропадать так, ни за что? – крикнул Василий Андреич и, подправляя под колена развевающиеся полы шубы, повернул лошадь и погнал ее прочь от саней по тому направлению, в котором он предполагал, что должен быть лес и сторожка.

VII

Никита, с тех пор как сел, покрывшись дерюжкой, за задком саней, сидел неподвижно. Он, как и все люди, живущие с природой и знающие нужду, был терпелив и мог спокойно ждать часы, дни даже, не испытывая ни беспокойства, ни раздражения. Он слышал, как хозяин звал его, но не откликался, потому что не хотел шевелиться и откликаться. Хотя ему еще было тепло от выпитого чая и оттого, что он много двигался, лазя по сугробам, он знал, что тепла этого хватит ненадолго, а что согреваться движением он уже будет не в силах, потому что чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, не может, несмотря ни на какой кнут, идти дальше, и хозяин видит, что надо кормить, чтобы она вновь могла работать. Одна нога его в прорванном сапоге остыла, и он уже не чуял на ней большого пальца. И кроме того, всему телу его становилось все холоднее и холоднее. Мысль о том, что он может и даже по всем вероятиям должен умереть в эту ночь, пришла ему, но мысль эта показалась ему ни особенно неприятной, ни особенно страшной. Не особенно неприятна показалась ему эта мысль потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой, от которой он начинал уставать. Не особенно же страшна была эта мысль потому, что, кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь; и знал, что и умирая он останется в власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит. «Жаль бросать обжитое, привычное? Ну, да что ж делать, и к новому привыкать надо».

«Грехи? – подумал он и вспомнил свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательства, нехождение в церковь, несоблюдение постов и все то, за что выговаривал ему поп на исповеди. – Известно, грехи. Да что ж, разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня бог сделал. Ну и грехи. Куда ж денешься?»

Так он подумал сначала о том, что может случиться с ним в эту ночь, и потом уже не возвращался к этим мыслям и отдался тем воспоминаниям, которые сами собой приходили ему в голову. То он вспоминал приезд Марфы и пьянство рабочих и свои отказы от вина, то теперешнюю поездку в Тарасову избу и разговоры о дележах, то о своем малом и о Мухортом, который угреется теперь под попоной, то о хозяине, который скрипит теперь санями, ворочаясь в них. «Тоже, я чай, сердечный, сам не рад, что поехал, – думал он. – От такого жития помирать не хочется. Не то что наш брат». И все эти воспоминания стали переплетаться, мешаться в его голове, и он заснул.

Когда же Василий Андреич, сядясь на лошадь, покачнул сани и задок, на который Никита упирался спиной, совсем отдернулся и его полозом ударило в спину, он проснулся и волей-неволей принужден был изменить свое положение. С трудом выпрямляя ноги и осыпая с них снег, он поднялся, и тотчас же мучительный холод пронизал все его тело. Поняв, в чем дело, он хотел, чтобы Василий Андреич оставил ему ненужное теперь для лошади веретье, чтобы укрыться им, и закричал ему об этом.

Но Василий Андреич не остановился и скрылся в снежной пыли.

Оставшись один, Никита задумался на минуту, что ему делать. Идти искать жилья он чувствовал себя не в силах. Сесть на старое место уже нельзя было, – оно все было засыпано снегом. И в санях, он чувствовал, что не согреется, потому что ему нечем было покрыться, его же кафтан и шуба теперь совсем не грели его. Ему было так холодно, как будто он был в одной рубахе. Ему стало жутко. «Батюшка, отец небесный!» – проговорил он, и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит, успокоило его. Он глубоко вздохнул и, не снимая с головы дерюжки, влез в сани и лег в них на место хозяина.

Но и в санях он никак не мог согреться. Сначала он дрожал всем телом, потом дрожь прошла, и он понемногу стал терять сознание. Умирал он или засыпал, – он не знал, но чувствовал себя одинаково готовым на то и на другое.

VIII

Между тем Василий Андреич и ногами и концами повода гнал лошадь туда, где он почему-то предположил лес и сторожку. Снег слепил ему глаза, а ветер, казалось, хотел остановить его, но он, нагнувшись вперед и беспрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой и мешавшей ему сидеть холодной седелкой, не переставая гнал лошадь. Лошадь хотя с трудом, но покорно шла иноходью туда, куда он посыпал ее.

Минут пять он ехал, как ему казалось, все прямо, ничего не видя, кроме головы лошади и белой пустыни, и ничего не слыша, кроме свиста ветра около ушей лошади и воротника своей шубы.

Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешил стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка. Но лошадь все воротила вправо, и потому он все время сворачивал ее влево.

Опять впереди его зачернелось что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наверное деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреича. Но мало того, что это был такой же бурьян, – подле него шел конный, заносимый ветром след. Василий Андреич остановился, нагнулся, пригляделся: это был лошадиный слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он, очевидно, кружился и на небольшом пространстве. «Пропаду я так!» – подумал он; но, чтобы не поддаваться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, глядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезавшие, как только он глядывался в них. Раз ему показалось, что он слышит лай собак или вой волков, но звуки эти были так слабы и неопределены, что он не знал, слышит ли он что или это только чудится ему, и он, остановившись, стал напряженно прислушиваться.

Вдруг какой-то страшный, оглушающий крик раздался около его ушей, и все задрожало и затрепетало под ним. Василий Андреич схватился за шею лошади, но и шея лошади вся тряслась, и страшный крик стал еще ужаснее. Несколько секунд Василий Андреич не мог опомниться и понять, что случилось. А случилось только то, что Мухортый, ободряя ли себя или призывая кого на помощь, заржал своим громким, заливистым голосом. «Тьфу ты пропасть! напугал как, проклятый!» – сказал себе Василий Андреич. Но и поняв истинную причину страха, он не мог уже разогнать его.

«Надо одуматься, оstepениться», – говорил он себе и вместе с тем не мог удержаться и все гнал лошадь, не замечая того, что он ехал теперь уже по ветру, а не против него. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и касалось седелки, зябло и болело, руки и ноги его дрожали, и дыхание было прерывисто. Он видит, что пропадает среди этой ужасной снежной пустыни, и не видит никакого средства спасения.

Вдруг лошадь куда-то ухнула под ним и, завязши в сугробе, стала биться и падать
Страница 22

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru на бок. Василий Андреич соскочил с нее, при соскачивании сдернув набок шлею, на которую опиралась его нога, и сдернув седелку, за которую держался, соскакивая. Как только Василий Андреич соскочил с нее, лошадь справилась, рванулась вперед, сделала прыжок, другой и, опять заржавши и таша за собой волочившееся веретье и шлею, скрылась из вида, оставив Василия Андреича одного в сугробе. Василий Андреич бросился за нею, но снег был так глубок и шубы на нем так тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колена, он, сделав не более двадцати шагов, запыхался и остановился. «Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар, наследник, — подумал он, — как же это все останется? Что ж это такое? Не может быть!» — мелькнуло у него в голове. И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Он подумал: «Не во сне ли все это?» — и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему лицо и засыпал его и холодил его правую руку, с которой он потерял перчатку, и это была действительная пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти.

«Царица небесная, святителю отче Миколае, воздержания учителю», — вспомнил он вчерашние молебны и образ с черным лицом в золотой ризе и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад и которые он, чуть обгоревшие, прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещая ему молебен и свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны — все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи. «Надо не унывать, — подумал он, — надо идти по следам лошади, а то и те занесет, — пришло ему в голову. — Она выведет, а то и поймаю. Только не торопиться, а то заряешь и хуже пропадешь». Но, несмотря на намерение идти тихо, он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. След лошади уже становился чуть заметен в тех местах, где снег был неглубок. «Пропал я, — подумал Василий Андреич, — потеряю и след, и лошади не догоню». Но в ту же минуту, взглянув вперед, он увидал что-то черное. Это был Мухортый, и не только один Мухортый, но и сани и оглобли с платком. Мухортый, со сбитой набок шлеей и веретьем, стоял теперь не на прежнем месте, а ближе к оглоблям и мотал головой, которую заступленный повод притягивал ему книзу. Оказалось, что завяз Василий Андреич в той самой лощине, в которой они завязли еще с Никитой, что лошадь вела его назад к саням и что соскочил он с нее не больше пятидесяти шагов от того места, где были сани.

IX

Довалившись до саней, Василий Андреич схватился за них и долго стоял так неподвижно, стараясь успокоиться и отдохнуться. На прежнем месте Никиты не было, но в санях лежало что-то, занесенное уже снегом. И Василий Андреич догадался, что это был Никита. Страх Василия Андреича теперь совершенно прошел, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха, который он испытал на лошади, и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. И потому первое, что он сделал, было то, что он, став задом к ветру, распустил шубу. Потом, как только он немного отдохнул, он вытряхнул снег из сапог, из левой перчатки, правая была безнадежно потеряна и, должно быть, уж где-нибудь на две четверти под снегом; потом он вновь туже и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с возов привозимый мужиками хлеб, затянулся кушаком и подготовился к деятельности. Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Василий Андреич и сделал это и, освободив повод, привязал Мухортого опять к железной скобе у передка к старому месту и стал заходить сзади лошади, чтобы оправить на ней шлею, седелку и веретье, но в это время он увидел, что в санях зашевелилось что-то и из-под снега, которым она была засыпана, поднялась голова Никиты. Очевидно, с большим усилием, замерзший уже, Никита приподнялся и сел, как-то странно, точно отгоняя мух, махая перед носом рукой. Он махал рукой и говорил что-то, как показалось Василию Андреичу, призывая его. Василий Андреич оставил веретье, не поправив его, и подошел к саням.

— Чего ты? — спросил он. — Чего говоришь?

— Поми-ми-мираю я, вот что, — с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита. — Зажитое малому отдай. Али бабе, — все равно.

– А что ж, аль зазяб? – спросил Василий Андреич.

– Чую, смерть моя... прости, Христа ради... – сказал Никита плачущим голосом, все продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками.

Василий Андреич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучил рукава шубы и обеими руками принял выгребать снег с Никиты и из саней. Выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног прихватив ее подол, Василий Андреич лежал так ничком, упервшись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движений лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился.

– А вот то-то, а ты говоришь – помираешь. Лежи, грейся, мы вот так... – начал было Василий Андреич.

Но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу. «Настращался я, видно; ослаб вовсе», – подумал он на себя. Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость.

«Мы вот как», – говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирав под колена все заворачиваемую ветром правую полу шубы.

Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние.

– Микита, – сказал он.

– Хорошо, тепло, – откликнулось ему снизу.

– Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы...

Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить.

«Ну, ничего, – подумал он. – Я сам про себя знаю, что знаю».

И он замолк. Так он лежал долго.

Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы; только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки. Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика.

Несколько раз он взглядал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта и веретье с шлеей лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь, но он не мог решиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился. Страха он теперь не испытывал никакого.

«Небось не вывернется», – говорил он сам себе про то, что он отогреет мужика, с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи.

Так пролежал Василий Андреич час, и другой, и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и лошади под дугой, трясущихся перед глазами, и вспоминалось о Никите, лежащем под ним; потом стали примешиваться воспоминания о празднике, жене, становом, свечном ящике и опять о Никите, лежащем под этим ящиком; потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита; потом все это смешалось, одно вошло в другое, и как цвета радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru впечатления сошлились в одном ничто, и он заснул. Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, но ноги не движутся, а калоши, новые, чищенные, приросли к каменному полу и их не поднимешь и из них не вынешь. И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью, и Василий Андреич видит себя лежащим на брюхе на свечном ящике, то есть на своей постели в своем доме. И лежит он на постели и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвеич, становой, и с Иваном Матвеичем надо идти либо торговать рощу, либо поправить шлею на Мухортом. И спрашивает он у жены: «Что же, Миколавна, не заходил?» – «Нет, говорит, не заходил». И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. Должно, он. Нет, мимо. «Миколавна, а Миколавна, что ж, все нету?» – «Нету». И он лежит на постели и все не может встать, и все ждет, и ожидание это и жутко, и радостно. И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвеич, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. «Иду!» – кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уж не тем, каким он заснул. Он хочет встать – и не может, хочет двинуть рукой – не может, ногой – тоже не может. Хочет повернуть головой – и того не может. И он удивляется, но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним, что он угрелся и жив, и ему кажется, что он – Никита, а Никита – он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье и даже слабый храп Никиты. «Жив Никита, значит, жив и я», – с торжеством говорит он себе.

И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело, – думает он про Василья Брехунова. – Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. Теперь знаю». И опять слышит он зов того, кто уже окликнул его. «Иду, иду!» – радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен и ничто уже больше не держит его.

И больше уже ничего не видел, и не слышал, и не чувствовал в этом мире Василий Андреич.

Кругом все так же курило. Те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреича и всего трясущегося Мухортого, и чуть видные уже сани и в глубине их лежавшего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту.

Х
Перед утром проснулся Никита. Разбудил его опять начавший пробирать его спину холод. Приснилось ему, что он едет с мельницы с возом хозяйствской муки и, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз. И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину. Но удивительное дело! Воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него. Всю поясницу раздавило. Да и холодный же! Видно, вылезать надо. «Да будет, – говорит он кому-то тому, кто давит ему возом спину. – Вынимай мешки!» Но воз все холоднее и холоднее давит его, и вдруг стукает что-то особенное, и он просыпается совсем и вспоминает все. Холодный воз – это мертвый замерзший хозяин, лежащий на нем. А стукнул – это Мухортый, ударивший два раза копытом о сани.

– Андреич, а Андреич! – осторожно, уже предчувствуя истину, окликает Никита хозяина, напруживая спину.

Но Андреич не отзыается, и брюхо его и ноги – крепкие и холодные и тяжелые, как гири.

«Кончился, должно. Царство небесное!» – думает Никита.

Он повертывает голову, прокапывает пред собою снег рукой и открывает глаза. Светло; так же свистит ветер в оглоблях, и так же сыплется снег, с тою только разницею, что уже не стегает о лубок саней, а беззвучно засыпает сани и лошадь все выше и выше, и ни движенья, ни дыханья лошади не слышно больше. «Замерз,

Хозяин и работник. Лев Николаевич Толстой tolstoyeo.ru должно, и он», – думает Никита про Мухортого. И действительно, те удары копыт о сани, которые разбудили Никиту, были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортого.

«Господи, батюшка, видно, и меня зовешь, – говорит себе Никита. – Твоя святая воля. А жутко. Ну, да двух смертей не бывать, а одной не миновать. Только поскорее бы...» И он опять прячет руку, закрывая глаза, и забывается, вполне уверенный, что теперь он уже наверное и совсем умирает.

Уже в обед на другой день мужики откопали лопатами Василия Андреича и Никиту в тридцати саженях от дороги и в полверсте от деревни.

Снег нанесло выше саней, но оглобли и платок на них были еще видны. Мухортый по брюхо в снегу с сбившимися со спины шлеей и веретьем стоял весь белый, прижав мертвую голову к закостенелому кадыку; ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и тоже обмерзли точно слезами. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа. Василий Андреич застыл, как мороженая туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и отвалили с Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был набит снегом. Никита же был жив, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер и что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете. Но когда он услыхал кричащих мужиков, откапывавших его и сваливших с него закоченевшего Василия Андреича, он сначала удивился, что на том свете так же кричат мужики и такое же тело; но когда понял, что он еще здесь, на этом свете, он скорее огорчился этим, чем обрадовался, особенно когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах отморожены.

Пролежал Никита в больнице два месяца. Три пальца ему отняли, а остальные зажили, так что он мог работать, и еще двадцать лет продолжал жить – сначала в работниках, а потом, под старость, в караульщиках. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках. Перед смертью он просил прощения у своей старухи и простил ее за бондаря; простился и с малым, и с внучатами и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба и сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему все понятнее и заманчивее. Лучше или хуже ему там, где он после этой настоящей смерти проснулся, разочаровался ли он, или нашел там то самое, что ожидал? – мы все скоро узнаем.

1894–1895

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://tolstoyeo.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!